

Анатолий Васильев: Я больше не хочу участвовать в этой жизни

Этого режиссера при жизни называют великим. И у нас, и на Западе. Он обладает многими почетными премиями мира. Одна из них присуждена в Тормине (Италия). До него этой премии была удостоена Анна Ахматова.

А начиналось все в последней «арбузовской» студии, в подвале на Мятной, в театре Станиславского. Пьесы Виктора Славкина «Взрослая дочь молодого человека» и «Серсо».

— Толя, ты помнишь, как сгорел наш театр на Мятной? Как ты думаешь, какой в этом был метафизический смысл?

— Ты не обидишься? А зачем вы, драматурги, занимали это помещение?

Драматурги вообразили, что они в театре самые главные, а режиссеры должны их обслуживать. Это была роковая ошибка «арбузовской» студии. А с другой стороны, сколько из этой студии вышло замечательных людей...

— Толя, скажи, что должно было произойти, чтобы ростовский химик стал московским режиссером?

— У меня была очень хорошая учительница по химии, я ее очень любил. Я выбрал университет, но я никогда не рассчитывал заниматься химией всю жизнь.

— Тебе нужна была какая-то образовательная основа?

— Мне нужно было побыть. Побыть.

— А сейчас ты обываешь, обитаешь в жизни?

— Теперь я занимаюсь театром, и я там.

— Я понимаю, что ты занимаешься театром, но ты какой-то особенный театралный режиссер. Сначала ты ставил спектакли, блестяще, но как все режиссеры, а потом произошел такой страшный перелом, когда сама репетиция, сам процесс взаимоотношений с актерами стали содержанием твоей жизни. Ты даже декларировал, что спектакль, результат тебе вроде и не нужен, а только процесс, когда ты говоришь «да», потом «нет», потом снова «да» и снова «нет»... Что тебе как человеку это дает?

— После «Серсо» я понял, что все, что я мог сказать в театре о моем ровеснике, о себе самом, я сказал. И я знал, что больше не буду заниматься современной темой совсем. Никогда к ней не возвращаюсь. Мне там нечего было делать. Это был кусок моей собственной жизни, и художественной, и человеческой... Я не весь высказался, я высказался настолько, чтобы не продолжать эту тему. Прошло десять лет. Все эти десять лет я переходил от души к духу, от проблем, связанных с человеческим, я переходил к проблемам, связанным с божественным. С Богом. Я не хотел больше участвовать в этой жизни, она мне никогда не нравилась.

— Почему?

— Это некрасиво все. Пошло. Безобразно. И вообще недостойно людей. Понимаешь, Россия

досталась нам не в своей практике — в своей литературе, культуре. Россию мы любим за ее литературу, а не за войны и тюрьмы.

— Для тебя — это разлад с действительностью, отход от нее?

— Может быть, когда-то так было. Прошло время — теперь нет. Теперь эта действительность, она, знаешь... Все равно она разбивает стекла, входит в квартиры, бьет в подъездах, она все равно участвует в нашей жизни, но теперь... Подальше бы все люди праведные из России, совсем, пускай бы они остались друг с другом и бились бы, и обогачались бы, только без нас. Не хочу.

— Твои бесконечные репетиции — это форма ухода?

— Это так. Тот театр, который мы знали, и который был сделан великими режиссерами, он похоронен... Эфрос, Любимов, Ефремов, Товстоногов... Этот театр более не существует. Он в могиле. И там все, что связано с материализмом, атеизмом, вообще всем тем, что сделали два века в мировой культуре и философии. В конце концов мы должны были ожидать чего-то нового, иного, какой-то резкой перемены. Я ушел для того, чтобы сказать новое слово, пускай оно будет немощным, но я ушел, чтобы собрать ансамбль актеров, которые могли бы это представить. У меня не получилось. На протяжении всех этих лет я собирал ансамбли, они разрушались, распадалась, а я с упорством фанатика продолжал это делать, и с отчаянием хотел бросить, уехать, поэтому оказался в Париже и Будапеште, и это была потрясающая моя судьба, потому что благодаря этому я вернулся в Россию то, что я в ней родил, но не мог воспитать.

— На одном из спектаклей ты сказал, что тебя считают новатором, а тебе интереснее и плодотворнее работать со старыми актерами, которые понимают тебя больше и воплощают твои идеи гораздо полнее, живее и талантливее, чем молодые, и сам ты черпаешь у стариков.

— Когда мои ансамбли стали собираться из людей моложе меня лет на двадцать, я заметил, не сразу, а вскоре, потому что сначала моя любовь не замечала этого, я заметил, что у них нет основы, почвы. Это не так, как у тех актеров, с которыми я играл «Серсо». И совсем не так, как у стариков. Там я нахожу совершеннейший, полнейший контакт...

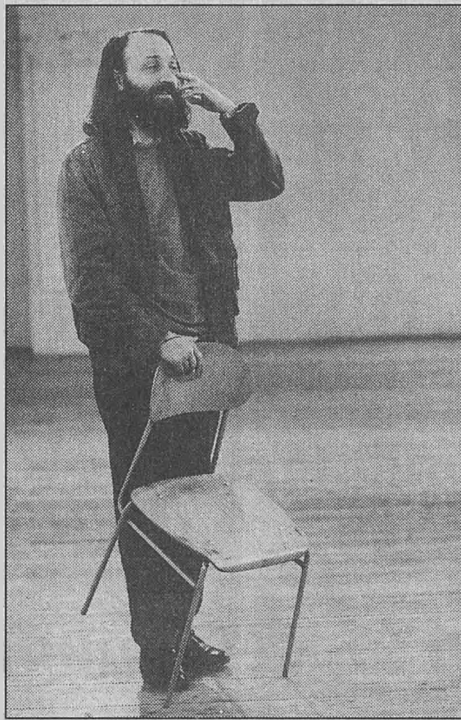
— Толя, дух духом, но ты сам говоришь о почве, ведь все это остается погруженным в почву, в реальность! Если разорвать одно с другим, ничего хорошего не получится. Не есть ли причина неудачи твоих ансамблей в своеобразном сектантстве?..

— Последний трагический для меня случай произошел сентябрем 93-го года. В Японии мы сыграли две премьеры: «Иосиф и его братья» и «Фьоренцу». Я вернулся, и в сентябре уже не имел

труппы, она распалась. Причины... ты даже не можешь себе представить, насколько бытовыми, житейскими они были! У них есть своя философия, но я считаю, это философия эгоизма. Или философия болезни, которая не имеет нравственности. В конце концов, актер или режиссер должен выживать, где он, в театре или вне театра.

— Толя, а что в жизни самое-самое интересное для тебя?

— Когда я был молодым, самым интересным для меня было путешествовать. Да я ведь и путе-



шествовал, был моряком. И сейчас много путешествую. В России я болею, а в Европе я обыкновенно здоров. Из всех дней и времен года мне нравится только лето, мне нравится только солнце и жара, поэтому любимые места моей жизни — это Сицилия, Греция, Южная Америка и так далее. Я не люблю Север. И лучше себя чувствую, когда улетаю или возвращаюсь.

— Что это дает?

— Свободу. Чувство, что ты в мире, что мир с тобой, весь мир с тобой.

— У тебя тонкая кожа? Ты страдаешь от вампиризма по отношению к тебе или ощущаешь это между другими людьми?

— Сам я бываю и резким, но я же не могу никуда деться, я как сделан, так сделан. Наверное, незащищенная кожа. И я хотел бы, чтобы она была еще более незащищена. А самое лучшее... в юности мне казалось, что это — ничегонеделанье...

— Дольчефарниенте — сладкое ничегонеделанье...

— Забавы. И я много времени проводил в таких забавах. Но со временем я понял, что занятость — самое лучшее, что есть в жизни.

— Вещи переворачиваются: от сладкого ничегонеделанья к занятости, от человеческого к божественному. А ведь они могут еще раз перевернуться.

— Я был бы рад, но мне так мало осталось жить! Нет, я думаю, что все правильно. Некажиста, некрасиво, не так шумно... В 79-м году вышла премьера «Взрослой дочери», и это был необычайный, великий шум. Может быть, мне это нравилось, я пребывал во всем этом, и вдруг я заметил, что это уже не я, а мой портрет, сделанный не мною, а другими людьми. И тогда я все сделал, чтобы уничтожить этот портрет.

— У тебя такие отношения с собой, что ты сам себя делаешь?

— Кажется, что да. Я не чувствую себя в славе и не чувствую себя европейским режиссером, и не думаю, что уж какое-то такое место занимаю в европейском театре — самое обыкновенное. Я не думаю, что русские могут занимать пока какое-то место. У нас все еще впереди.

— Интересная вещь: можно сделать много-много спектаклей и на этом вырасти и самоосуществиться. А твой случай показывает, что можно вложить все на каком-то очень небольшом пространстве...

— То, что видят, гораздо меньше того, что на самом деле происходит. Я ведь репетирую каждый день. В прошлом сезоне и в этом я репетирую Пушкина, может быть, вещей двадцать: «Евгений Онегин», роман и опера, «Маленькие трагедии» и, самое главное, его маленькие, стихотворные трактаты об искусстве, о поэте, литературе и так далее. Это огромнейшая работа, каждодневная. Одновременно с этим идет работа над текстами Платона. Еще работа над «Илиадой» Гомера.

— Тебе публика нужна или нет?

— Не буду лукавить, она мне очень нужна, но российская публика такая тяжелая. Она и в искусстве всегда ожидает опасностей, не только в жизни. И потом она неиззяна, скрытна. Играть в России — это играть в два этапа: вначале надо исполнить обязанности медицины, а потом уже художественные обязанности.

— Рассказки про свою личную жизнь.

— Моя личная жизнь примитивна. Я женат. У меня есть дочь. У дочери родилась дочь. Моя дочь живет не со мной. Моя жена живет не со мной, хотя мы не в разводе, просто с прошлого года у

меня появился кабинет, где я должен быть один, иначе я не смогу работать.

— А ты вообще влюбчивый?

— Да. Но эту часть жизни я стараюсь скрыть совсем. Мою жену Надежду я привез из Владивостока. Я пришел с моря, обедал в ресторане, увидел эту женщину, она мне понравилась. Я написал ей записку, что такого-то числа уезжаю в такой-то город, вы можете поехать со мной. Она поехала.

— У тебя пока нет ощущения выполненной задачи?

— Я пока ничего не сделал. К тому же, я должен написать еще одну книгу — «Театр без людей». Одну я написал, она называется «Единственному читателю».

— Мне кажется, что ты каждый раз завтра отрицаешь то, что утверждал вчера.

— Я просто передвигаюсь, и все.

— И ты точен и последователен?

— Конечно. Точность является моим пафосом. Точность — это дитя интуиции для меня.

— Толя, ты говоришь, что окружающая действительность такая-раздакая, но разве не из нее ты черпаешь стимулы?

— Теперь нет. До 85–87-го года — да.

— А искусство, даже самое высокое, — часть жизни или нет? Бог — часть жизни или нет?

— Жизнь — часть Бога, я бы сказал так.

— Тем более, если жизнь — часть Бога, как совсем отвернуться от реальности?

— Реальность дана нам не только в ее конкретностях. В ее абстрактности она тоже дана. Меня интересуют символы реальности и то, что находится в ее сути, а не то, что заключено в ее каждодневных конкретных проявлениях.

— А связь с Богом — почему люди обращаются к этой связи?

— Ну, это естественно. Из всех вопросов, стоящих перед человеком и человечеством, самыми важными являются те, которые предложил им Господь и которые они не в силах решить. Я верю в то, что, если бы каждый мог решить эти вопросы, мир бы изменился. И он изменился бы сам, без политиков и гениев.

— Ты же говоришь, что решить их невозможно.

— Я рассуждаю как человек, у которого вера не полная, а маленькая. Если бы моя вера была полная, я бы сказал, что это возможно, потому что есть Воскресение и все, что за ним.

— Толя, в конце концов сгоревший театр на Мятной привел тебя туда, куда надо, или нет?

— Я ему благодарен ужасно... Всем, кто был связан со студией Арбузова, — Крымовой, Эфросу. В конце концов я произошел из этого альянса...